

# СЛОВА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДОЧИТАТЬ



АСКЕР БАТИЦКИЙ

**Аскер Батицкий**

# **Слова которые нельзя дочитать**

*<https://litres.ru/74481084>*

*SelfPub; 2026*

## **Аннотация**

Виктория — редактор с пятнадцатилетним стажем — находит у двери пакет без обратного адреса. Внутри — тонкая книга без названия, без автора, без выходных данных. На полях — пометки разных людей: вопросы, признания, крестики. Все, кто держал эту книгу, останавливались на первой истории. Никто не дочитал.

История Нины, которая не села в поезд. Геннадия, который узнал, что сын не его, и выбрал молчать. Даши, которая после развода выбрала отца — он казался веселее. Врача, который бросил карьеру и не пожалел. Женщины, которая вообще не выбирала.

Каждая — как зеркало, в котором Виктория видит себя. Свою дочь, которая сказала «ладно». Своё «нормально», за которым спрятано всё, что не сказано.

Но книга делает то, чего не делали прежние экземпляры: она отвечает. На полях появляется мужской почерк — тот, кто был в этих историях. Он просит: «Не читай дальше». Виктория не может остановиться. Потому что останавливаться — единственное, что она умеет. И она устала это делать.

# **Аскер Батицкий**

## **Слова которые нельзя дочитать**

**Слова, которые нельзя дочитать**

повесть

### **Глава 1. Пакет без обратного адреса**

Пакет лежал на полу у двери, когда Виктория вернулась с работы. Тонкий, в крафтовой бумаге, без обратного адреса. Она чуть не переступила через него — на автомате, как переступает через тапки, которые Алиса снова бросила в коридоре. Но остановилась. Имя на пакете было напечатано, не написано от руки. «Виктория Сергеевна Орлова». Полное имя, с отчеством. Так её никто не называл, кроме налоговой и банка.

Она подняла пакет, потрясла — лёгкий, внутри что-то тонкое, плоское. Книга. Или брошюра. Или журнал. Она не стала открывать в коридоре, прошла на кухню, поставила чайник, села за стол. Алиса была у отца — по четвергам ночевала у Андрея. Квартира тихая, только холодильник гудит.

Виктория разорвала край пакета. Внутри — книга. Тонкая, страниц сто, не больше. Переплёт потрёпанный, углы загнуты, корешок треснул посередине. На обложке ничего

— ни названия, ни автора, ни издательства. Просто серый картон, потемневший от времени. Она провела пальцем по корешку — бумага шершавая, как старая обложка из тех, что делали в типографиях при заводских клубах. Тех самых, которые потом закрылись, а их оборудование сдали на металлолом.

Чайник щёлкнул. Виктория налила себе чай, но не стала пить — поставила чашку рядом, чтобы просто грела руку. Открыла книгу.

Первая страница начиналась без титульного листа, без оглавления, без предисловия. Просто текст. Шрифт незнакомый — не Таймс, не Гарамонд, не Палатино, не один из тех, что она видела за пятнадцать лет работы в издательстве. Какой-то свой, неизвестный, с тонкими засечками и странной формой строчных «а» — почти круглых, как в рукописном. Бумага желтоватая, плотная, с едва заметной зернистостью. Не тиснёная, не мелованная — просто хорошая старая бумага.

Виктория прочитала первую строчку. Потом вторую. И перестала замечать чай.

Это была история женщины по имени Нина. В 1971 году она стояла на перроне вокзала в маленьком городке — название не называлось, но по описанию похоже на что-то южное, пыльное, с тополями и белой известкой на стенах — и не могла решить. Перед ней был поезд. Не товарный, не электричка — пассажирский, с зелёными вагонами и проводни-

цей в форменном платье, которая уже закрыла дверь, но ещё не дала свисток. За спиной — мужчина. Не муж, просто мужчина, с которым она жила третий год. Не любила, но боялась оставить. Не потому что он был плохой — он был нормальный, в меру добрый, в меру внимательный, в меру выпивающий. Просто он был, и уходить было некуда, а оставаться было незачем. А поезд шёл к матери. Мать жила в другом городе, в однокомнатной квартире с балконом, выходящим на стадион. Мать звала. Мать писала письма — бумажные, синей пастой, с просьбами, которые никогда не звучали как просьбы: «Нина, мне тут одной хорошо, но я понимаю, что тебе лучше там». Мать умела так — говорить «тебе лучше», когда имела в виду «приезжай».

Нина стояла на перроне, и чем дольше стояла, тем тяжелее становились ноги. Поезд ждал. Проводница смотрела через окно, не торопила, не спрашивала — просто смотрела, как смотрят на людей, которые не могут определиться. Мужчина стоял за спиной, молчал, курил. Он не просил остаться. Не говорил «не уезжай». Просто стоял. И в этом молчании было всё — и просьба, и угроза, и усталость от того, что она опять не может решить.

Нина выбрала остаться.

Книга не описывала это как драму. Никакого «и в этот момент она развернулась и пошла прочь от поезда». Просто: «Она постояла ещё минуту. Потом повернулась и пошла обратно, к зданию вокзала, к мужчине, который уже выбросил

окурок и ждал её, засунув руки в карманы. Поезд ушёл. Нина не обернулась на него. Она обернулась на него через тридцать лет».

И дальше — тридцать лет. Не день за днём, а веками. Женщина, которая не села в поезд, прожила жизнь рядом с женщиной, к которому не было ни страсти, ни ненависти. Был быт: общая кухня, общее мыло, общий телевизор, общее молчание за ужином. Был ребёнок — родился на третий год, девочка, называли Леной. Была работа — завод, потом контора, потом снова завод. Была мать — умерла в 1984 году, Нина не успела приехать. Поезд больше не ходил в тот город — маршрут закрыли.

И книга показывала, как тридцать лет проходят так, будто их нет. Не было несчастья — было отсутствие счастья. Не было ссор — было отсутствие разговоров. Не было ненависти — было отсутствие чувства. Как будто Нина села не в тот поезд, а в отсутствие поезда, и ехала в нём тридцать лет, глядя в окно, за которым ничего не менялось.

Последняя страница истории Нины была короткой. Нина сидела на кухне в шесть утра. Мужчина — постаревший, седой, с тем же молчанием, которое только углубилось, как морщины, — спал в соседней комнате. Нина пила чай. Тот самый, который когда-то варили в жестяных чайниках на плите. Кухня была маленькая, жёлтая, с часами-ходиками на стене — кукушка давно не вылетала, но часы шли. Нина смотрела в окно, и там, за стеклом, был тот же перрон. Не на

самом деле — перрона давно не было, на его месте построили автостоянку. Но Нина видела его. Видела зелёные вагоны. Видела проводницу. Видела мужчину, который курил за её спиной. И думала: «А если бы я села в тот поезд?».

Текст обрывался. Следующая страница была пустой. Белой, чистой, без единой пометки.

Виктория закрыла книгу. Руки дрожали. Не от страха — от узнавания. Не того, поверхностного, когда ты думаешь «о, это похоже на мою ситуацию». А того, глубокого, когда ты понимаешь, что чья-то история — это твоя, только в другом декорациях, в другом году, с другими именами. Нина не села в поезд. Виктория не ушла от Андрея вовремя — ушла через двенадцать лет, когда уже не было ни поезда, ни перрона, ни смысла. Ушла тихо, без скандалов, просто собрала вещи, пока он был на работе. Алисе тогда было одиннадцать. Алиса не плакала. Алиса сказала «ладно».

Виктория посмотрела на часы. Половина одиннадцатого ночи. Чай остыл. Она отодвинула чашку, придвинула книгу. Редактор проснулся.

Это было рефлексом — пятнадцать лет в издательстве не проходили даром. Когда Виктория видела текст, она не просто читала. Она смотрела. Шрифт, интерлиньяж, поля, плотность набора, наличие тире или дефисов, кавычки — ёлочки или лапки, пробелы перед знаками препинания. Она не могла не смотреть, как хирург не может не заметить, что у человека неправильно сросшийся палец, даже если человек

пришёл по другому поводу.

Она открыла книгу и начала проверять.

Шрифт — неизвестный. Ни один из стандартных, ни один из тех, что использовались в советских и российских типографиях за последние сорок лет. Засечки тонкие, почти ломкие, наклон у строчных «д» и «у» — необычным, будто шрифт рисовался от руки, а потом был переведён в цифру. Или не был. Виктория не могла понять, напечатан текст или каким-то образом воспроизведён. Краска лежала ровно, не размазывалась под пальцем, но при этом не блестела, как от лазерной печати, и не впитывалась глубоко, как от офсета. Она провела ногтем по строке — краска не соскоблилась. Но и рельефа не было. Будто текст был не напечатан, а врос в бумагу.

Бумага. Виктория оторвала крошечный кусочек уголка — профессиональная привычка, от которой её коллеги морщились, а авторы вздрагивали. Поднесла к свету. Волокна плотные, ровные, с лёгким желтоватым оттенком. Не современная целлюлоза, не советская — что-то другое. Старая бумага, но не ветхая. Будто ей лет сорок, но хранили в идеальных условиях: сухо, темно, без перепадов температуры.

Поля — узкие, по два сантиметра с боков, сверху и снизу — полтора. Стандартный набор. Но кегль — не стандартный. Не двенадцатый, не четырнадцатый. Виктория примерила на глаз — что-то между одиннадцатым и двенадцатым, но с увеличенным интерлиньяжем, будто строкам дали по-

дышать. Это делало текст лёгким — читался без напряжения, без того, чтобы глаз цеплялся за строки. Она знала этот приём — так набирали стихи. Но это была не поэзия.

Типографских знаков не было. Вообще. Ни копирайта, ни ISBN, ни знака охраны авторских прав, ни выходных данных. Ни даты издания, ни тиража, ни номера заказа. Книга, у которой нет паспорта. Виктория за пятнадцать лет видела тысячи книг — от академических монографий до самиздатов, от толстых романов до тонких брошюр. У каждой был паспорт. Даже у самодельных, даже у тех, что печатали на ризографе в гараже. У этой — нет.

Она откинулась на стуле, посмотрела на книгу. Та лежала на столе, раскрытая, с загнутым уголком страницы. Обычная тонкая книга. Если бы не отсутствие всех опознавательных знаков, можно было бы подумать, что это рукопись — чья-то неопубликованная повесть, которую кто-то распечатал и сброшюровал. Но рукописи так не выглядят. У рукописей всегда есть следы автора: пометки, исправления, комментарии на полях. У этой — чистый, выверенный текст, как из типографии, только без типографии.

Виктория взяла телефон. Набрала в поисковике первую фразу из книги: «Нина стояла на перроне, и чем дольше стояла, тем тяжелее становились ноги». Ноль результатов. Ни одного совпадения. Она попробовала короче: «Нина стояла на перроне». Ноль. Она попробовала финальную фразу: «А если бы я села в тот поезд». Ноль. Текста не существовало

в интернете. Вообще.

Виктория закрыла телефон. Сердце стучало чуть быстрее, чем нужно, но не от страха — от того самого чувства, которое заставляло её работать в издательстве, а не где-нибудь ещё. Чувство, когда ты держишь в руках текст, которого не должно быть. Текст, который никто не знает. Текст, который нашёл именно тебя.

Она допила холодный чай, не почувствовав вкуса. Потом сделала то, чего не делала уже давно — взяла блокнот, который лежал в ящике кухонного стола (там же, где часы Андрея, но она старалась на них не смотреть), и записала: «Книга. Нет данных. Шрифт неизвестен. Бумага старая. Текст не найден в интернете. История женщины по имени Нина, 1971 год, перрон, поезд, осталась. Через тридцать лет — та же кухня, тот же вопрос».

Потом подумала и добавила: «Почему мне?».

Часы на стене показывали полночь. Виктория закрыла книгу, погладила обложку — привычка, унаследованная от первого редактора, который говорил: «Книга — это не товар, а собеседник, а с собеседником здороваются за руку». Поднялась, положила книгу на тумбочку у кровати. Легла. Долго смотрела в потолок. За стеной, у соседей, работал телевизор — слышались обрывки новостей, чьё-то «спасибо», чей-то смех. Потом всё стихло.

Виктория закрыла глаза. И увидела перрон.

Не свой — тот. С зелёными вагонами, с проводницей в

форменном платье, с тополями и белой известкой. Нина стояла на краю платформы, спиной к Виктории, лицом к поезду. Она не оборачивалась. Просто стояла. И Виктория знала — не из текста, а из самого сна — что Нина сейчас решает. Что её ноги тяжелеют. Что мужчина за спиной молчит и курит. Что мать ждёт. Что поезд ждёт. Что все ждут, и никто не торопит.

Виктория хотела крикнуть ей: «Садись!». Но из горла не вышло ни звука. Она открыла рот — и там не было слов. Как будто язык, на котором она хотела говорить, ещё не придумали. Или уже забыли.

Она проснулась в четыре утра от того, что задрожала стена — соседи сверху двигали мебель, как они делали каждую ночь. Полежала, глядя в темноту. Потом повернулась, взяла книгу с тумбочки, открыла на первой странице и перечитала первую строчку.

«Нина стояла на перроне, и чем дольше стояла, тем тяжелее становились ноги».

Нет. Всё было на месте. Слова не изменились. Шрифт тот же. Бумага та же. Только теперь, в свете уличного фонаря, пробивавшегося сквозь шторы, ей показалось, что на полях страницы — левее текста, у самого корешка — что-то написано. Мелко, карандашом, тонким почерком. Она поднесла книгу к глазам.

«А ты бы осталась?»

Не её почерк. Не её карандаш. Чужой вопрос, написанный

кем-то, кто держал эту книгу до неё.

Виктория перелистнула несколько страниц. Ещё пометки. Другой почерк, другие чернила: «А тебе хватило бы на тридцать лет?». Третий — синей ручкой, размашисто: «Я остался». Четвёртый — почти стёршийся, будто по нему провели ластиком: «Я тоже не села».

Книга прошла через десятки рук. Каждый оставил след. Каждый читал, писал что-то на полях — и уходил. Не дочитав.

Виктория взяла карандаш с тумбочки — тот, которым Алиса делала наброски в школьной тетради. Поднесла к странице. Рука зависла. Она никогда не писала на полях чужих книг — это было нарушением всех редакторских правил. Писать в книге — значит признать, что она твоя. А эта книга была не её. Она была ничья.

Но рука сама написала. Мелко, почти прижавшись к корешку, чтобы не задеть чужой текст:

«Я бы села в поезд».

Виктория закрыла книгу. Положила на тумбочку. Легла. За окном начинало светать — серый, ноябрьский свет, который в Краснодаре почти не бывает по-настоящему тёмным. Она закрыла глаза и подумала: завтра нужно проверить, кто мог прислать этот пакет. Почта — не магия, отправитель где-то есть. Запись в почтовом реестре, штамп, вес, дата. Всё это можно найти. Она редактор. Она умеет искать.

Но заснула она не с этим. Заснула она с образом Нины на

перроне — спиной к ней, лицом к поезду. Нина не обернулась. И Виктория знала: если бы обернулась — это уже был бы другой конец.

Утром она встала в шесть. Часы Андрея в ящике стола тикали — тихо, настойчиво, будто напоминали о чём-то, что она не хотела помнить. Виктория оделась, собрала сумку, положила книгу внутрь — между блокнотом и папкой с рукописью, которую нужно было править до обеда. Проверила отражение в зеркале: спокойное лицо, собранные волосы, лёгкие тени под глазами. Нормально. Всё нормально.

На столе, рядом с пустой чашкой, лежал блокнот. Последняя запись: «Почему мне?».

Виктория захлопнула блокнот, сунула его в сумку и вышла. За дверью было серое утро, пахло мокрым асфальтом и свежим хлебом из пекарни на первом этаже. Она шла к остановке, прижимая сумку к себе чуть крепче, чем обычно.

Книга лежала внутри. Тонкая, потрёпанная, без названия. И с новым вопросом на полях первой страницы — её вопросом, её карандашом.

«Я бы села в поезд».

## **Глава 2. Кто это написал**

Утро в издательстве начиналось одинаково. Виктория приходила в восемь, наливала кофе из кофемашины, которая работала только если постучать по ней сбоку — кто-то из коллег говорил, что это «энергетическое воздействие»,

но Виктория подозревала, что просто разболтался лоток для капсул — и садилась за стол. Стол у неё был у окна, не потому что она заслужила, а потому что окно выходило на глухую стену соседнего здания, и никто другой не хотел. Виктории было всё равно. Она не любила смотреть на улицу во время работы — отвлекало.

Сегодня она села, открыла ноутбук, вывела на экран рукопись, которую нужно было править до обеда. Автор — женщина из Ростова, пишет детективы для серии «Южный город». Текст был не плохой, но рыхлый: длинные описания, лишние диалоги, второстепенные персонажи, которые появлялись, чтобы сказать одну фразу, и исчезали навсегда. Виктория знала этот тип авторов — они искренне любили своих героев и не могли никого обидеть вырезанием. Ей приходилось обижать за них.

Она начала править. Первый абзац — хорошо, ритм правильный, но «тусклое небо нависло над городом, словно крышка старого сундука» — метафора перегружена. Небо и сундук, крышка и нависло — четыре образа в одной фразе, глаз спотыкается. Виктория вычеркнула «словно крышка старого сундука», оставила «тусклое небо нависло над городом». Лучше. Проще. Дышит.

Второй абзац. Герой выходит из подъезда, осматривается, замечает машину, припаркованную у тротуара, описывает её цвет, марку, номер. Виктория вычеркнула марку и номер — читателю всё равно, это не улика, а атмосфера. Оста-

вила «серая машина у тротуара». Проверила — не задело ли вычёркивание ничего дальше. Не задело. Номер в сюжете не всплывал.

Третий абзац. Героиня готовит завтрак. Омлет. Описывается процесс: разбивает яйца, взбивает вилкой, добавляет молоко, солит, разогревает сковороду. Виктория нахмурилась. Зачем? Это не раскрывает персонажа, не двигает сюжет, не создаёт настроение. Это просто — омлет. Она вычеркнула весь абзац, кроме последней фразы: «Она села за стол и стала есть, глядя в окно». Эта фраза работала. Здесь была героиня — одна, с тарелкой, у окна. Образ. Остальное — кухонный рецепт.

Она правил текст, и привычка работала как метроном: фраза — проверить, абзац — проверить, сцена — проверить. Лишнее убрать, нужное оставить, ритм выровнять. Но сегодня что-то сбивало. Не текст — текст был обычный. Что-то внутри.

Виктория поймала себя на том, что смотрит не на экран, а на сумку, которая висела на спинке стула. Книга лежала внутри, между блокнотом и папкой. Она принесла её. Не собиралась — просто утром, собираясь на работу, положила. Как кладут зонт, когда на улице облака: может, не понадобится, но спокойнее, когда с собой.

Она вернулась к тексту. Ещё абзац. Герой идёт по улице, встречает знакомого, они обмениваются фразами. Диалог длинный, три реплики без действия, чистая болтовня. Вик-

тория стала вычёркивать — и вдруг увидела, что мысленно проверяет не только рукопись, но и книгу. Текст из пакета. Шрифт, поля, плотность набора. Она поймала себя на том, что сравнивает: в рукописи кегль четырнадцатый, интерлиньяж полуторный, поля стандартные. В книге — всё другое. Не хуже, не лучше — другое. Будто книгу набирал не верстальщик, а кто-то, кто знал о тексте что-то, чего верстальщики не знали.

Виктория откинулась на стуле. Допила кофе — остывший, горький. Посмотрела в окно на глухую стену. Стена была серая, с трещиной посередине, из которой росла трава. Каждый год трава высыхала, а весной вырастала снова. Виктория смотрела на неё каждый день и каждый день не думала о ней. Сегодня — подумала. Трава росла из трещины, потому что не могла расти из стены. Она выбрала единственное место, где было можно.

Виктория вернулась к рукописи. Доправила до обеда, отправила автору с пометкой «посмотрите правки, особенно в третьей главе, там много лишних действующих лиц». Пошла в столовую — на втором этаже, дешёвая, с запахом борща и пластиковыми подносами. Села у окна — другого, не того, что у стены. Это окно выходило во двор, где росла старая акация. Виктория ела суп и думала.

Она думала о том, что весь день, пока правила чужой текст, в голове крутился другой текст. Нина на перроне. Зелёные вагоны. Тридцать лет пустоты. И пометки на полях —

чужие руки, чужие вопросы, чужие признания. Кто-то написал «я остался». Кто-то — «я тоже не села». Кто-то ставил крестик, как ставят в бухгалтерии, когда строчка закрыта. Каждый оставил след. Каждый ушёл. Никто не дочитал.

А она — дочитала. Нет, не дочитала — она дошла до конца первой истории и перечитала начало. Это не одно и то же. Дочитать — значит пройти до последней страницы. Она не прошла. Она остановилась. Просто остановилась не там, где остальные.

После обеда у неё был свободный час — редкость, которую она обычно тратила на чтение профессиональной почты или просмотр новых рукописей, которые присылали авторы. Сегодня она сделала другое. Открыла ноутбук, набрала в поисковике «Нина 1971 перрон поезд». Результатов — тысячи. Все нерелевантные. «Нина» как имя, «перрон» как слово, «поезд» как понятие. Она уточнила: «женщина по имени Нина 1971 год не села в поезд». Ноль. Попробовала иначе: «Нина перрон 1971 мать другой город». Несколько ссылок на форумах, где люди искали родственников, но ничего похожего.

Она поменяла тактику. В книге не назывался город, но были детали: южный, пыльный, тополя, белая известка на стенах, вокзал с одной платформой. Виктория поискала южные города, где в 1971 году ходили пассажирские поезда и где потом маршрут закрыли. Нашла три возможных варианта. Ни в одном — ни упоминания Нины, ни архивных записей,

ни газетных заметок. Она не удивилась. Обычные люди не попадают в архивы. Обычные люди стоят на перронах и не садятся в поезда, и никто этого не записывает.

Тогда она попробовала другое. В книге было: «Мать жила в другом городе, в однокомнатной квартире с балконом, выходящим на стадион». Стадион. Однокомнатная квартира с балконом на стадион. Виктория поискала: «южный город стадион 1970-е однокомнатные квартиры». Вышло много — южные города застраивали в шестидесятых и семидесятых, стадионы были популярны. Она сузила: «стадион вокзал одна платформа южный город закрытие маршрута 1970-е». Вышло два города. Один — в Краснодарском крае, другой — в Ставрополье.

Она начала проверять первый. Маленький город, район, вокзал — одна платформа, пассажирский поезд до областного центра. Маршрут закрыли в 1983 году — позже, чем в книге, но близко. Стадион — был, построен в 1965 году, находился в трёхстах метрах от жилого квартала. Однокомнатные квартиры с балконами, выходящими на стадион — такие дома были, серия 1-464, стандартная хрущёвка. Всё совпадало. Почти.

Она поискала: «Нина» в этом городе. В телефонных справочниках тех лет — ни одного совпадения. В некрологах — нет. В списках работников завода или конторы — нет. Нины не было. Но города, где Нина могла стоять на перроне, — были. Город был реальным. Перрон был реальным. Поезд

был реальным. Женщина — нет. Или была, но не оставила следа. Как и большинство людей.

Виктория закрыла ноутбук. Сидела и смотрела на акацию во дворе. Ветер шевелил листья, и они поворачивались то светлой, то тёмной стороной. Она подумала: вот так и Нина. То видна, то нет. То реальная, то выдуманная. Но перрон — реальный. И выбор — реальный. И тридцать лет — реальные. Независимо от того, существовала ли Нина на самом деле.

Это была не мистика. Это было хуже. Это было правдой, которая не нуждалась в документах.

Вечером, дома, Виктория сделала то, чего не успела утром — внимательно, систематически прошла все пометки на полях. Не читая историю заново, а только поля — от первой страницы до последней, где текст Нины обрывался.

Первая пометка — на странице три, рядом с фразой «Нина стояла на перроне». Почерк мелкий, аккуратный, с наклоном вправо. Чернила синие, обычные шариковые. «А ты бы осталась?» — с вопросительным знаком, но без восклицания. Спокойный вопрос, будто спрашивающий уже знал ответ, но хотел проверить.

Вторая — на странице семь, рядом с описанием мужчины, который молчал и курил. Другой почерк — крупнее, размашистее, без наклона. Чернила чёрные. «Я знал такого. Молчал. Думал, что это сила. Потом понял — трусость». Без вопросительного знака. Утверждение.

Третья — на странице двенадцать, рядом с фразой «Поезд ушёл. Нина не обернулась на него». Почерк тонкий, почти женственный, карандашом. «Я тоже не обернулась. И тоже через тридцать лет». Виктория перечитала дважды. Тонкая запись, но от неё стало холодно. Человек, который это написал, тоже прожил тридцать лет. Тоже не оборачивался. Тоже понял слишком поздно.

Четвёртая — на странице пятнадцатой, рядом с описанием быта. «Общее мыло» — и рядом, другим почерком, фиолетовой ручкой: «Господи, это же про меня». Виктория улыбнулась. Не от веселья — от узнавания. Общее мыло. Каждая семья знает общее мыло — мокрое, скользкое, лежащее на раковине, чужое и своё одновременно. Мелочь, которая делает брак браком, а потом — тюрьмой.

Пятая — на странице двадцать, рядом с фразой про мать, которая писала «тебе лучше там». Почерк уверенный, с нажимом: «Моя мать так же писала. Я тоже не поехала. Она умерла в октябре. Я узнала в декабре». Виктория замерла. Дата — не было даты, но тон был датой. Человек писал это не как размышление, а как факт. Сухо, голо, без слёз.

Шестая — на последней странице истории Нины, рядом с «А если бы я села в тот поезд». Красный карандаш, крупные буквы: «Я СЕЛА». И ниже, мельче, тем же красным: «И не пожалела. Но это другая история».

Виктория отложила книгу. Руки не дрожали — сегодня они дрожать не стали. Но внутри что-то сместилось. Не

страх, не волнение — любопытство. Острое, профессиональное, редакторское. Книга прошла через десятки рук. Каждый читал, писал что-то на полях, закрывал и уходил. Никто не дочитал. Но все оставили след. Зачем? Если книга не дочитана — зачем писать на полях? Кому?

Она взяла блокнот, тот самый, из ящика кухонного стола. Открыла на чистой странице. Записала:

«Пометки: минимум 6 разных почерков. Синие, чёрные, фиолетовые чернила, карандаш простой, карандаш красный. Возраст — разный: одни выцветшие, другие свежие. Один человек (красный карандаш) пишет, что сел в поезд и не пожелел. Кто-то (тонкий карандаш) — что тоже не оборачивался тридцать лет. Кто-то (чёрные чернила) — что молчание было трусостью, а не силой. Все — на полях истории Нины. Дальше — пусто. Никто не оставил пометок после первой истории. Никто не пошёл дальше».

Она подумала и добавила:

«Кроме меня».

В половине десятого позвонила Алиса. Не потому что хотела поговорить — потому что Виктория попросила звонить в девять, если не у отца.

— Мам, я у папы. Всё нормально.

— Хорошо. Как в школе?

— Нормально.

— Алис.

— Что?

— Ничего. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мам.

Пауза. Виктория знала, что Алиса не положит трубку первой — она никогда не клала первой, ждала, когда мать скажет «всё» и замолчит. Тогда клала. Виктория замолчала. Алиса подождала три секунды и положила трубку.

Виктория посмотрела на телефон. Потом на книгу. Потом — на ящик стола. Часы Андрея тикали внутри, тихо, как мышь, которая грызёт дерево. Она не открыла ящик. Не достала часы. Просто знала, что они там.

Она взяла книгу, села на диван, открыла на первой странице. Перечитала пометку, которую написала вчера: «Я бы села в поезд». Мелко, карандашом Алисы, у самого корешка. Слова сидели плотно, будто боялись, что их заметят.

Виктория провела пальцем по странице. Бумага была гладкая, тёплая — не от температуры, а от чего-то другого, что Виктория не могла назвать. Она перелистнула страницу. И на второй, и на третьей, и на пятой, и на десятой — везде, где были чужие пометки, она теперь видела их по-другому. Не как текст. Как голоса. Каждый почерк — голос. Синий — тихий, вопросительный. Чёрный — громкий, категоричный. Фиолетовый — растерянный. Карандашный тонкий — печальный. Красный — единственный, кто не спрашивал, а утверждал. Единственный, кто сел.

Она закрыла книгу. Положила на стол. Встала, прошлась по квартире. На кухне открыла холодильник — пусто, кроме

сыра и банки оливок. Закрыла. Прошла в комнату. Включила свет. Книга лежала на столе, маленькая, серая, незаметная. Можно было пройти мимо и не заметить. Но Виктория замечала. Она замечала её так, как замечают запах, когда кто-то рядом пользуется другими духами: не видишь, но знаешь, что кто-то есть.

Она легла. Выключила свет. Закрыла глаза.

И снова увидела перрон.

Но сегодня — иначе. Нина стояла, как и вчера, спиной к Виктории, лицом к поезду. Но сегодня поезд не ждал. Сегодня он медленно тронулся — тяжело, с скрежетом, с запахом угля и горячего металла. Вагоны поплыли мимо Нины, мимо Виктории, мимо мужчины, который курил и молчал. Нина не двинулась. Поезд ушёл. Платформа опустела. И только тогда Нина обернулась.

Она посмотрела на Викторию. Не сквозь, не мимо — прямо. Глаза у Нины были светлые, выцветшие, как фотография, которая долго лежала на солнце. Она не улыбалась. Не плакала. Не говорила. Просто смотрела. И в этом взгляде было всё, что Виктория прочитала в книге, и всё, что не было написано. Тридцать лет. Общее мыло. Мать, которая писала «тебе лучше там». Дочь, которая выросла и не поняла, почему мать не ушла. Кухня в шесть утра. Чай, который остыл. Вопрос, на который нет ответа, потому что ответ был тридцать лет назад.

Нина открыла рот. Виктория ждала слов. Но Нина не го-

ворила — она слушала. Будто ждала, что Виктория скажет. Будто они поменялись местами: в книге Нина не могла решить, а теперь Виктория не могла сказать.

Виктория проснулась. Часы показывали три ночи. Тихо, только холодильник. Она лежала и смотрела в потолок, и видела лицо Нины — выцветшие глаза, молчаливый рот. «Она меня видит», — подумала Виктория. И тут же подумала: «Это сон. Она меня не видит. Она — текст на бумаге. Она — история. Она не реальнее, чем героиня детектива, который я сегодня правил». Но знала: это неправда. Героиня детектива не снилась. А Нина — да. И смотрела. И ждала.

Виктория повернулась на бок. Книга лежала на тумбочке, рядом с телефоном. Она не стала её открывать. Просто положила руку на обложку — тёплая, шершавая, живая. И так уснула.

Утром, собираясь на работу, она задержалась у ящика кухонного стола. Открыла. Часы Андрея лежали внутри — маленькие, на ремешке, с остановившейся стрелкой. Виктория не помнила, когда они остановились. Может, когда Андрей ушёл. Может, раньше. Часы тикали — но время на них было чужое. Она закрыла ящик.

Положила книгу в сумку. Вышла.

### **Глава 3. Мужчина, который выбрал молчать**

Виктория открыла книгу вечером, после работы. Не сразу — сначала поужинала, вымыла посуду, протёрла стол. Потом

села на диван, включила торшер, положила книгу на колени. Алиса была у отца, квартира тихая. Она знала, что у неё есть час, может, полтора, прежде чем начнёт клевать носом. Этого хватит.

Она перелистнула пустую страницу, которая шла после истории Нины, и начала читать вторую.

Мужчину звали Геннадий. В 1994 году ему было сорок три. Он работал инженером на заводе — не на том, с которого потом всё развалилось, а на другом, поменьше, который делал детали для сельхозмашин. Жена — Лариса, ровесница, работала в библиотеке. Сын — Костя, шестнадцать лет, школьник, молчаливый, с длинными волосами и наушниками, из которых всегда что-то тихо играло. Обычная семья. Не счастливая, не несчастная — обычная.

Геннадий узнал случайно. Лариса рассказывала подруге по телефону, думала, что Геннадий на работе. Но он вернулся раньше — голова разболелась после обеда, и он ушёл с завода. Стоял в коридоре, снимал ботинки, и слышал: «Нет, Гена ничего не знает. Костя не знает. Я сама не знала, пока Володька не сказал. Он тогда, в восемьдесят седьмом, на корпоративе, я же тебе рассказывала». Пауза. «Да, я поняла только когда Костьке исполнилось десять. Считала — не сходится. Гена тогда был в командировке, а Володька... Ну, один раз. Один раз, Люсь. Я не планировала».

Геннадий стоял в коридоре с одним ботинком в руке. Второй был на ноге. Он не снял его и не надел первый. Просто

стоял. Минуту. Может, две. Потом тихо повернулся, вышел из квартиры и закрыл дверь. Лариса не слышала.

Он вернулся через два часа. Лариса готовила ужин. Кости не было — он был у друга. Геннадий сел за стол, посмотрел на жену. Лариса улыбнулась. Он улыбнулся обратно. Ужин прошёл как обычно. Суп, хлеб, разговор про работу. Геннадий не спросил, кому Лариса звонила. Лариса не сказала.

Книга описывала это так: «Он выбрал молчать. Не простить — молчать. Прощение — это работа, а молчание — это просто отсутствие работы. Он не хотел трудиться над тем, что нельзя починить. Он хотел, чтобы всё было как раньше. Как раньше уже не было, но он этого ещё не знал».

И дальше — годы. Не тридцать, как у Нины, а десять. Но ощущалось — дольше, потому что молчание плотнее пустоты. Пустота — это когда ничего нет. Молчание — это когда есть, но ты не говоришь. А то, что не говорят, не исчезает. Оно растёт.

Геннадий не изменился внешне. Тот же завод, та же библиотека, тот же ужин в семь, тот же телевизор в девять. Но внутри — сдвиг. Мелкий, незаметный, как трещина в фундаменте: пока не пойдёт вода, никто не видит. Он стал смотреть на Костю иначе. Не злобно, не холодно — иначе. Как смотрят на вещь, которая красивая, но не твоя. В магазине, в гостях, на работе — он смотрел на чужих детей и думал: вот этот похож на отца. А мой — не похож. Ни на меня, ни на Володьку, которого он никогда не видел и не хотел ви-

деть. Костя не был похож ни на кого. Он был просто Костя — шестнадцатилетний, молчаливый, с наушниками. Но Геннадий теперь видел в нём не сына, а доказательство. Доказательство того, что Лариса однажды солгала. И эта ложь — не в словах, а в теле, в ребёнке, в лице, которое каждый день за ужином сидело напротив.

Костя чувствовал. Не знал — чувствовал. Дети всегда чувствуют. Они не могут назвать это, не могут объяснить, но они знают, когда родитель смотрит на них и не видит. Костя стал реже ужинать дома. Потом реже приходить после школы. Потом реже появляться вообще. Лариса спрашивала: «Где ты был?». Костя отвечал: «У Димы». У Димы, у Сергея, у кого-то ещё. Лариса не проверяла. Она тоже чувствовала, что что-то не так, но не могла — или не хотела — понять, что именно.

Книга показывала это не как катастрофу, а как медленное оседание. Как дом, который садится в грунт: снаружи всё ровно, а внутри — двери перестают закрываться, окна перекашиваются, пол становится наклонным. Семья оседала. Год за годом.

Геннадий перестал ходить на родительские собрания. Раньше ходил всегда — вдвоём с Ларисой, сидели в последнем ряду, потом шли домой и обсуждали учителей. Теперь говорил: «Ты сходи, мне некогда». Лариса ходила одна. Перестала обсуждать — потому что Геннадий не спрашивал. Она стала рассказывать по привычке: «Марья Ивановна го-

ворит, что Костя мог бы лучше». Геннадий кивал. Лариса замолкала.

Косте исполнилось восемнадцать. Он окончил школу. Не плохо, не хорошо — как всё в последнее время. На выпускной Геннадий не пошёл. Сказал: «Что я там забыл, сидеть и слушать, как чужие дети стихи читают». Лариса пошла одна. Пришла домой поздно, немного выпившая — впервые за двадцать лет брака. Геннадий посмотрел на неё и ничего не сказал. На следующий день Лариса собрала вещи Кости — он сказал, что уезжает к бабушке, в другой город. Бабушка — мать Ларисы, жила в Воронеже. Костя не объяснил, почему. Лариса не спрашивала. Геннадий не спрашивал. Костя уехал.

Через месяц позвонил. Сказал, что устроился на работу. Через два месяца — что нашёл девушку. Через полгода перестал звонить. Лариса звонила сама — раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц. Костя отвечал коротко, вежливо, как отвечают дальним знакомым. Не грубо, не холодно — вежливо. Это было хуже, чем грубо. Грубость — это чувство. Вежливость — это отсутствие чувства.

Книга заканчивалась так: «Костя уехал не потому, что узнал правду. Он не знал правды. Никто ему не сказал — ни Геннадий, ни Лариса, ни Володька, которого он никогда не видел. Он уехал, потому что чувствовал: отец его не хочет. Не ненавидит — не хочет. Не отталкивает — не притягивает. Просто — не хочет. Как не хотят чашки, из которых не пьют:

стоят в шкафу, пылятся, и никто не помнит, зачем они там».

Геннадий прожил ещё семь лет после отъезда Кости. Лариса — тоже. Они жили в той же квартире, ели тот же ужин, смотрели тот же телевизор. Молчание стало плотнее — не зловещим, а бытовым. Как обои, к которым привык. Геннадий умер в шестьдесят два — сердце. Лариса пережила его на четыре года. Костя приехал на похороны. Потом на поминки. Потом уехал. На поминки он пришёл с женой — молодой, тихой, которая не знала никого из присутствующих. Костя поздоровался с матерью, обнял её — коротко, по-сыновьи, но без тепла. Как обнимают из вежливости.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.